

Transactions XXX (N.Y. 1999-2000)
(Записки Русской академической группы в США)

Между Аи и Бордо: Политические взгляды Пушкина

Сергей Давыдов*

Но изменяет ценой шумной
[Аи] желулку моему,
И я Бордо благодарюмный
Уж нынче предпочел ему.
Евгений Онегин, IV, 46

Сеть раздор между наследниками — прерогатива великих и богатых умов. Дабы завладеть наследием, потомки апеллируют к статьям завещания и призывают в свидетели «дух предка». Но, как не раз оказывалось, другие претенденты на наследство призывают того же свидетеля и так же искусно толкуют его завещание. Начинается идеологическое «терзание предка».

Политическому наследию Пушкина не удалось избежать подобной судьбы. Так, Писарев, истинный бête-noire русской словесности, увидел в Пушкине «версификатора, ... совершенно неспособного анализировать и понимать великие общественные и философские вопросы нашего века».¹ А современник поэта Микевич, напротив, утверждал, что «когда Пушкин говорил о политике внешней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человека, заматеревшего в государственных делах и пропитанного ежедневным чтением парламентарных прений».²

* Сергей Давыдов — профессор литературы в Миддлбери колледже, шт. Вермонт. Автор книги *Тексты-матрешки Владимира Набокова* и ряда статей о Пушкине, Набокове, Достоевском и теории литературы.

За два истекших века исследователям удалось представить Пушкина во всех цветах политической радуги. Поэта изображали то фрондером, то неистовым радикалом и бунтарем, то несогласившимся декабристом, то проповедником квиетизма, то руссоистом, то отступником от идеалов молодости, то приспособленцем и двурушником, то другом империи, то придворным сервилистом, то обиженным царепорцем, то надменным аристократом и, даже *roué la volpe blanche*, разочарованным дворянином, мечтавшим стать мещанином и хлестать из горшка щи.

Картина еще более усложняется из-за понятной осторожности поэта и постоянной оглядки на цензуру, затрудняющих доступ к мыслям поэта, который о себе заявил: «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический или религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости» (Жуковскому, 7 марта 1826 г.). Нам будет легче разобраться в политических пристрастиях поэта, если учесть, что его идеалом был своеобразный сплав противоположностей, утопический союз «меча и лиры», «воли и покоя», свободы и империи, либерализма и консерватизма, стихийной вольности и государственности — нынчи словами, Ди и Бордо, Клико и Дафит.

Я предлагаю спуститься в винный погреб поэта и начать пробы Ди, Бордо, Клико и Дафитов разных годов с конца, со стихотворения «Из Пиндемонти», написанного в последнее лето жизни Пушкина. Дата его написания (5 июля 1836) почти совпадает с десятилетней годовщиной казни декабристов (13 июля), а само стихотворение во многих отношениях завершает эволюцию политических воззрений Пушкина.

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не рошшу о том, что отказали боги
Мне в слабой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, *слова, слова, слова*.
... * Hamlet (Прим. Пушкина.)

Начальные строки наводят на мысль о том, что что-то в корне не ладно с «громкими правами», которые поэт так надменно отвергает. Однако, черновой вариант: «При звучных именах Равенства и Свободы / Как будто ольгяев, беснуются народы» не оставляет сомнения, что речь идет о самых заветных гражданских идеалах, а не о заслуживающих презрение псевдоправах.

Конечно, было время, когда и Пушкин надевал «демократический халат» и голова его кружилась от звуков и “Liberté” и “Egalité”, особенно, когда их произносил родной брат Марата, рыцарский республиканец, Monsieur de Volpud, преподаватель французского в Лицее, или либеральный Куницын, читавший лекции о естественном праве. В лицейские годы, в перерыв Зеленой лампы, и в Кипиневе Пушкин был либералом в полном смысле этого слова. Его гражданские стихи поощряли революционное брожение времени и не раз служили политическим манифестом тайных обществ, приведших к мятежу 1825 года.

Стихотворение «Вольность» (1817), названное в честь крамольной оды Радищева (1790), казалось, продолжало традицию родоначальника русского радикализма: «Тираны мира! Трепещите!.. Восстаньте, падише рабы!» Тем не менее между этими одами есть одна существенная разница. Пушкин предлагал лишь «На тронах поразить пороки», а не сам трон, как сказано у Радищева: «На вече весь гечет народ, / Престол чугуный разрушает» (строфа XXXII).

Если в «Вольности» Пушкина «вечной стражей трона» был «меч закона» в руках доблестных граждан, то в «Кинжале» (1821) поэт уже размахивает огнюдь не метафорическим оружием: «Свободы тайный страж, карающий кинжал, / Последний судия позора и обиды». Стихотворение «Кинжал» создало Пушкину репутацию неистового радикала. Но подобно оде А. Шенье “A Marie-Anne Charlotte Corday” (1793),³ стихотворение Пушкина призывало лишь к убийству тирана, а не к царубийству, а сам кинжал задействован лишь как последняя мера, когда и «боги молчат», и «меч закона дремлет».

В начале 1820-х гг. Пушкин разделил гражданское негодование своих друзей, но сам он не был отъявленным радикалом. А. И. Тургенев называл бравату поэта «люцифанным вольнодумством»,⁴ а кн. Вяземский выдал Пушкину следующую аттестат:

Многие из тогдашних так-называемых либеральных стихов его были более отголоском того времени, нежели отголоском, исповедью внутренних чувств и убеждений его. Он часто был Золотая арфа либерализма на пиршествах молодежи, и отзывался теми везениями, теми голосами, которые налетали на него».⁵

Декабрист Пушкин называл пушкинское поэзерство «болтовней и вздором», но прекрасно понимал, что

...этот вздор, похожий несколько на поддразнивание, переходил из уст в уста и порождал разные толки, имевшие дальнейшее свое развитие; следовательно, и тут даже некоторым образом достигалась цель, которой он несознательно содействовал (1858).⁶

А по словам Александра I, Пушкин к 1820 году «наводнил Россию возмущительными стихами; вся молодежь наизусть их читает».⁷ Император собирался сослать поэта в Сибирь или на Соловки, но отправил лишь в командировку на юг. Несмотря на нескрываемую неприязнь к Александру I, Пушкин отставал в своих гражданских стихах проект не чуждый в свое время самому императору — конституционную монархию. Призыв Пушкина к отмене крепостного права «по манин царя» («Деревня», 1819) был восторженно встречен Александром I, который передал поэту: "Remerciez Poushkinе des nobles sentiments qui insprient ses vers".⁸

Радикально настроенные почитатели поэта могли проглядеть эти тонкости, но однозначно имперская конюшка «Кавказского пленника» (1821), в которой автор «Вольности» прославил покорение свободолобивых горцев русским оружием, не оставила сомнений, на чьей стороне были симпатии поэта. Этот крайне неромантический взгляд, выраженный в эпитафии к самой «байронической» поэме Пушкина, смутил даже тех, кого едва ли можно заподозрить в революционных симпатиях. Кн. Вяземский недоумовал: «Мне жаль, что Пушкин окривил последние стихи своей повести... Поэзия не союзница палачей... Тимны поэта не должны быть никогда славословием резни».⁹

Личная преданность Пушкина друзьям-декабристам оставалась всегда безудержной, хотя поэт не раз колебался в своем отношении к их делу. Революции в Испании, Италии и Германии в начале 20-х гг. не привели к падению монархий, и народ предал своих

предводителей: «Народы тишины хотят, И долго их ярем не треснут» (В. Л. Давыдову, 1821). Все это давало мало поводов для революционного оптимизма в России. Уже в одесский период, т. е. за два года до разгрома декабристов, Пушкин подозревал, что восстание — лишь романтическая затея дворян, сомневаясь в пользе революционной пропаганды и в готовности народа к свободе. Какими далекими от идеалов «Вольности» должны были показаться будущим декабристам стихотворения 1823 года «Демон» или «Сельтерь свободы»:

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды

Фрмо с тремущками да быч.

Эти строки до сих пор продолжают смущать исследователей либерального толка.¹⁰

1824-25 годы привели Пушкина к политическому распутью. Мтежный юг, свободная стихия моря и Байрон оставлены позади. В то время как тайные общества готовили вооруженное восстание в столице, Пушкин в далекой глуши, в родовом Михайловском изучает другую, глубоко антиромантический урок истории. Чтение Шекспира и Карамзина приводит к убеждению, что над индивидуальной волей — благородной или низменной — стоит вполне закономерная, а иногда даже справедливая историческая неизбежность. В *Борисе Годунове* смерть детей и узурпаторство представляются как роковой исторический грех. За пролитие крови последнего из Рюриковичей Россия настаивает кара в духе традиционного мифа. Убийный царевич в облике самозванца мстит узурпатору точно так, как в *Катинской дочке* бородастое переволлощение убитого Петра III — самозванец Пугачев — будет мстить за «своею» смерть вдовствующей узурпаторше Екатерине II. Эта идея просвечивала уже в «Вольности»: трагедия, постигшая француз при самозванце Наполеоне, представляется как достойное древнего мифа возмездие за казнь законного короля. Чтение *Истории Карамзина* убеждает Пушкина, что в сознании народа монархия была и остается основой политической жизни России. В *Борисе Годунове*, наряду с полужаконным царем и романтическим Самозванцем, Пушкина привлекает образ монаха Пимена.

В нем собрал я черты, пленявшие меня в наших старых летописях: простодушие, удивительная кротость, нечто младенческое и вместе мудрое, усердие, можно сказать набожное, к власти Царя, данной ему Богом... Мне казалось, что сей характер, все вместе, нов и знаком — для русского сердца... (ИСС 11: 68).

Проверяя мятжежную молодость при дворе Ивана Грозного, благодарственный летописец смотрит на прошлое с тем умудренным спокойствием («Добру и злу внимаю равнодушно, / Не ведаю ни жалости, ни гнева»), которое пытался обрести и сам Пушкин. Это новое понимание истории наложило отпечаток и на отношение Пушкина к событиям 14 декабря: «Не будем ни суеверны, ни односторонни, — как французские трагики; но взглянем на трагедию взглядом Шекспира» (Пельвигу, фев. 1826). Вместо заламывания рук и рвения волюс, трезвые слова нового короля: "Inter their bodies as besomes their births: Proclaim a raton to the soldiers' feed" (Richard III). «Еще так и надеюсь на коронацию: повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна», пишет он Вяземскому (14 авг. 1826).

Надеясь, что следствие над декабристами убедит правительство в непричастности поэта к делу мятжежников, Пушкин обратился в мае 1826 г. к новому императору с просьбой о прекращении ссылки, и 8 сентября состоялась известная встреча в Чуловом Дворце. Николай I назвал Пушкина «умнейшим человеком России», а поэт подтвердил царю свое письменное обещание «не противуречить общепринятому порядку» (Николаю, 11 мая 1826).¹¹

Не подозревая пока, в какую западню он попал, освобожденный от ссылки и цензуры поэт искренне попытался пойти навстречу своему освободителю. Вспомним, что во время следствия император сумел оборотить даже некоторых декабристов: «Зачем вам революция? Я сам вам революция: я сам сделал все, чего вы стремитесь достигнуть революцией».¹² Ради справедливости надо сказать, что, взойдя на престол, Николай I создал не только III отделение, но и оправдал ряд либеральных надежд. Вот некоторые результаты этой «революции сверху»: новый император отстранил «всей России притеснителя» Аракчеева, удалил «полужанатика, полушута» архимандрита Фотия, приблизил к себе опального Степанского для проведения реформы законов. Чтобы поддержать восставших греков, православный царь объявил войну Турции, за

что Гейне назвал это «рыцарем Европы».¹³ (Сам Пушкин пытался в 1828 г. определиться в армию, но ему было отказано.)

Тем не менее, расправа над пятью декабристами остается темным пятном на совести Николая I, несмотря даже на то, что для 120 мятжежников он заменил казнь каторгой, а через год освободил их от работы в рудниках, перевел в особо построенный Петровский завод, и разрешил женам поселиться в камерах мужей. В мене четвертования постыдной виселицей утешения мало, но не стоит забывать, что Николай I денежно помогал вдове, дочери и даже внукам казненного Рылева.

Нет ничего удивительного, что в «Стансах», написанных в 1826 г. по поводу коронации и опубликованных в 1828 г., Пушкин вполне искренне обращается к Николаю «в надежде славы и добра» и призывает нового императора следовать примеру Петра I в твердости и великодушии к врагам. Это, конечно, призыв к милости к сосланным декабристам, которых Пушкин не очень жестко сравнивает с мятжежными стрельцами. В стихотворении о подвиге Наполеона «Герой» (1830), написанном в Болдине в октябре и анонимно напечатанном в *Телеграфе* в 1831 г., Пушкин через ложную дату и место — «29 сентября 1830, Москва» — отдает честь мужеству и милосердию императора Николая I. Подробно Наполеону, пожимавшему руки своим зачумленным войнам в лазарете в Яффе, Николай в этот день вернулся в зараженную холерой Москву, чтобы помогать в борьбе с эпидемией.

«Стансы» прилились не всем по вкусу. Москва, только что бурно встретившая Пушкина, увидела в рас-de-деух поэта с царем только faux pas, недостойное певца «Вольности». За попытки заключить союз «меча и перья», «империи и свободы» поэт дорого поплатился: «Не приобресть двора, Пушкин потерял и либеральную часть публики».¹⁴ Эта незаслуженная репутация преследовала Пушкина и в следующем поколении русской критики: «Разительный пример — Пушкин, которому стоило написать только два-три верноподданнических стихотворения и надеть камер-юнкерскую дивреку, чтобы выдрут лишиться народной любви», — писал Белинский.¹⁵

В стихотворении «Друзьям» (1828) Пушкин был вынужден встать на защиту от обвинений в подхалимстве или даже наущичестве:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Дышком сердца говорю.

Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами,
Россию вынул он оживил
Войной, надеждами, трудами.

Личный цензор поэта проявил на этот раз больше вкуса, чем сам поэт — Николай I распорядился: "Cela rest couit, mais pas être imprimé".¹⁶ Несмотря на сомнительное художественное достоинство стихотворения, в нем с отменной простосердечностью высказана заветная мечта поэта о союзе двух богопомазаных существ:

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потуля очи долу.

Насколько реалистичны были эти чаяния? Пушкин был убежден, что творчество Тасса, Ариоста, Шекспира, Мольера и Вольтера только выиграло от покровительства правителей.¹⁷ В русской истории, как известно, на каждое царство приходилось по Поэту, и некоторым из них было дозволено играть роль Платона при короле. У Екатерины I был Третьяковский, у Анны — Ломоносов, у Елизаветы — Сумароков, у Екатерины II — Петров и Державин, у Александра I — Карамзин. Почему бы не Николай I и Пушкин?

После возвращения из ссылки Пушкин не раз пытался поправить свою «подмоленную» репутацию и был готов пойти навстречу царю. Нет сомнения, что призрак пятерых повешенных Николаем преследовал Пушкина, но его также стращала судьба поэта Шенье, приветствовавшего в 1789 революцию, а затем обвинившего якобинцев в отступничестве от ее идеалов, и казненного революционным трибуналом за приверженность к своему королю («Андрей Шенье», 1825). Такой урок истории приводит к окончательному отказу от абсолютной молодости, восславляющих «Свободу вообще» и «Равенства вообще». Как справедливо замечает

Е. Эткинд, Французская революция представляется теперь Пушкину, как трагедия отвлеченных понятий, «союз ума и фурий» («К вельможе», 1830).

[С]лекуляции абстрактного ума, евойственные философским трудам просветителей, привели в конце концов к буйствованию кровавых инстинктов, к игнорированию Закона, необходимой основы государства и общества, во имя Свободы, ложно понятой как абсолютное благо («Свободой грозною поверженный закон»);¹⁸

Подобные опасения оставили свой отпечаток и на отношении Пушкина к декабристам и их делу.

* * *

Хорошо известно, что Пушкин не раз старался озарить заточенные сосланных друзей-декабристов «лучем лицейских ясных дней». В 1827 г. он обратился к ним в «Послании в Сибирь» — прямо, а в «Арионе» — косвенно. В первом стихотворении лицеисты Пушкин и Кюхельбекер должны были слышать (даже «во глубине сибирских руд») эхо лицейской «Прощальной песни» (1817), сочиненной Дельвигом и исполненной ими хором на музыку Тетшера в присутствии Александра I во время выпускного акта.¹⁹ Дружеское напоминание о светлом лицейском прошлом осталось непонятым остальными декабристами, услышавшими в «Послании» лишь боевой клич:

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Приподнятый стиль послания в самом деле напоминал гражданскую риторичку самих декабристов. Кн. Одоевский, как известно, ответил Пушкину в таком-же воинственном духе:

Мечи скуем мы из цепей
И пламя вновь зажжем свободы,
Она наярнет на царей,
И радостно вздохнут народы.

Послание Пушкина и ответ Одоевского прочно вошли в фольклор революции. Ленин, как известно, взял струю князя-Рюрикoviча эпиграфом для *Искры*.

Но вопреки общепринятому толкованию «Послания», Пушкин призывал не столько к революционной борьбе, сколько к «тордому терпению». Что же касается «меча», согласно военному уставу при аресте у офицера отнимали шпагу, а в обряде «гражданской казни» пренесли на шпильную шпагу над головой осужденного в знак утраты гражданских и сословных прав.²⁰ «Отпача» меча, таким образом, могла обозначать амнистию и восстановление декабриста в правах дворянина и офицера,²¹ а по справедливому замечанию Непомнящего, «отдать может только тот, кто взял или отобрал».²² Оказался прав Пушкин, а не Одоевский. Не борьба, а только «тордое терпение» привело к желанному результату: «Гяжкие оковы» (кандалы) пали с арестантов в 1829 г., а свобода — для тех, кто остались в живых — пришла лишь через 30 лет, в 1856 г., уже при Александре II.²³

Второе стихотворение, «Арион», написано 16 июля 1827, в первую годовщину казни пetersьких мятежников (13 июля). Но в отличие от «Послания в Сибирь», Пушкин не отправил «Арион» сыльным декабристам, а напечатал анонимно в *Литературной газете* (№ 43, 30 июля 1830). Неоднозначность смысла и неуверенность в адресате продолжает интриговать исследователей стихотворения, которое можно толковать по-разному: 1) вне политического контекста, 2) как аллегорию декабрьского мятежа, или 3) в рамках мифа об Арионе.

1) Без учета событий 1825 года «Арион» — вариация архетипа о челне среди бури и о чудесном спасении одного из пловцов. Подобная метафора встречается не раз в греческой, римской, а позже и в романтической поэзии. Ю. Суздальский привел ряд иностранных и российских подтекстов и выделил из них 14-ю оду Горация, «*O navis, refectus in mate te novi...*» (кн. 1) как источник «Ариона».²⁴ Американский ученый Walter Vickers добавил к этому списку 5-ю оду Горация «*Quis multa gracilis te puer in rosa...*» (кн. 1), которую в свое время перевел на русский дядя Пушкина Василий Львович. Заключительные ее строки: «От тибели спасенный, / Ботам коварных волн / Я ризу омоченну / В восторге посвятил» предвосхищают концовку «Ариона».²⁵ Стихотворение Жуковского «Пловец» (1812), о челне «без кормила и весла» и о

Провидении, спасшем пловца, можно считать подстроичным поэтическим вариацией на эту тему. Жуковский использовал метафору утопающего и достигшего берега пловца в письме к сосланному Пушкину задошло до событий 1825 г.:

На все, что с тобою случилось, и что ты сам на себя навлек, у меня один ответ: ПОЭЗИЯ. Ты имешь не дарование, а гений... Ты рожден быть великим поэтом; будь же этого достоин. В этой фразе вся твоя мораль, все твое возможное счастье и все вознаграждение. Обязательства жизни, счастливые или несчастные, щедра. Ты скажешь, что я проповедую с спокойного берега *утопающему*. Нет! я стою на пустом берегу, вижу в волнах силача и знаю, что он *не утопит*, ешьли употребит свою силу, и только показываю ему *лучший берег*, к которому он непременно доплывет, ешьли захочет сам. *Плыви, силач* (Новбрь 1824).²⁶

В контексте этого письма «Арион» — гимн, посвященный чудотворной власти искусства, спасшей поэта. Тема поэта, претерпевшего крушение и поощенного «прежние гимны», переключается и с неожиданным событием в жизни сыльного Пушкина. 28 декабря 1825, через две недели после восстания на Сенатской площади, выходит из типографии первый сборник поэта «Стихотворения Александра Пушкина» (на титульном листе — 1826 г.).

2) Однако, согласно более устойчивой трактовке, «Арион» — аллегория подавленного восстания декабристов, своеобразный «метафорический протокол того, что произошло с друзьями поэта и с ним самим».²⁷ Поэт здесь является одним из мятежников, и после крушения продолжает общее дело товарищей («Я гимны прежние пою»). Исследователи даже спорили о том, кого подразумевал Пушкин в образе «умного кормщика» — Пестеля или Рыльева.

Если предположить, что адресатом «Ариона» являются те же друзья-декабристы, что и в «Послании в Сибирь», то между этими стихотворениями можно обнаружить несколько дополнительных и не сразу очевидных параллелей. Подобно «Посланию в Сибирь», содержащему так же и частное послание друзьям-лицейстам (цитаты из «Прощальной песни» Дельвига), в «Арионе» запрятаны «цитаты» из общего прошлого лицестов, не предназначенных для остальных декабристов. Образ челна и спасение пловца мог напомнить Пушкину и Кюхельбекеру о попытке Кюхельбекера утопиться в пруду Александровского парка в 1817 г. Карикатура



Ersceln professors rescuing Kikhel' beker.
A drawing by Mischevski. (РД, ф. 244, оп. 25, № 152, л. 82)

Илличевского, изображающая челн, спасающий тонущего Кюхлю дийским педагогами, появилась в рукописном журнале «Лицейский мудрец».²⁸ В свою очередь, легенда об Арионе могла напомнить Кюхельбекеру и эпизод из его собственного послания «К Пушкину» (1822), в котором «[Он] в ночь безмолвен и уныл, / С убийцей-тонпольтером шылл». Кюхельбекер снабдил эти строки примечанием: «Отправляясь из Виллафранки в Ниццу морем, в глухую ночь, я подвергся было опасности быть брошенным в волны».²⁹

Но в отличие от «Послания в Сибирь», в «Арионе» подлежат сомнению как адресат, так и сам смысл стихотворения. Как праведно, все пушкинские послания декабристам — «Мой первый друг...» (1826), «Бог помочь вам, друзья мои» (1827), «Послание в Сибирь» (1827) — доходили до адресата в далеком и тлубоком Забайкалье (см. ПСС 3: 1132, 1151, 1137; ПДВБ 2: 283). Если «Арион» в самом деле предназначался им, Пушкин и в этот раз нашел бы способ доставить стихотворение по адресу. Но он этого не сделал и напечатал «Арион» анонимно в *Литературной газете*. Несмотря на то, что декабристы регулярно следили за столичной прессой, никто из них не догадался, что «Арион» обращен к ним и

никто не заподозрил в авторстве Пушкина. Пушкин узнал о стихотворении «Арион» — назвав его ошибочно «Челн» — лишь в 1855 году.³⁰ Любопытно и то, что сам Пушкин ни разу не включил «Арион» ни в одно свое прижизненное издание; стихотворение появилось впервые под его именем лишь 30 лет после кончины поэта. Зачем понадобилась такая осторожность? Если «Арион» действительно был обращен к декабристам, почему Пушкин не отправил его в Сибирь и три года медлил с напечатанием? И почему, напечатав «Арион» анонимно, Пушкин исключил его из своего поэтического наследия? Может быть, ответ кроется в амбивалентности самой мифологической основы стихотворения.

3) Общепринято считать, что Пушкин избрал мифологическое название «Арион», дабы скрыть от цензуры декабристскую «подкладку» стихотворения. В самом деле, мотив «таинственного певца, поющего пловцам» напоминает скорее миф об Орфее и аронавтах, которые «под кифару Орфееву веслами били / Но ненасытного моря равнине», нежели миф об Арионе.³¹ Но поскольку Пушкин назвал свое стихотворение «Арион», этот текст как и его биографический контекст следует пропустить сквозь призму классической легенды об Арионе, даже если такое предомление приведет к весьма неожиданному результату.

Согласно известной легенде, Арион был любимым певцом коринфского тирана Перандра (ок. 600 г. до Р.Х.). Возвращаясь однажды на корабле домой, Арион вез с собой драгоценные дары, выданные им в музыкальных соревнованиях в Италии и Сицилии. Во время плавания кормщик с пловцами стоворились ограбить певца и бросить его в воду. Арион выпросил разрешение пропеть в последний раз и, надев венцы и ризу поэта, заиграл на лире. Не закончив гимн, Арион прыгнул в воду, но был спасен дельфином, который поплыл на звуки пленительной музыки и доставил Ариона на сушу. В Коринфе Арион донес на грабителей Перандру, но царь, не поверив поэту, посадил его под стражу. Когда причалил корабль и преступники были обличены, царь освободил поэта. Улетев несколько конювок. Согласно одной, Перандр казнил пловцов; согласно другой, Арион умолил тирана помиловать преступников, и тот сослал их в далекую варварскую страну, а лира Ариона и дельфин превратились в созвездия.³²

Если исходить в толковании «Ариона» из сюжета легенды, то отношения между пушкинскими пловцами и певцом получаются

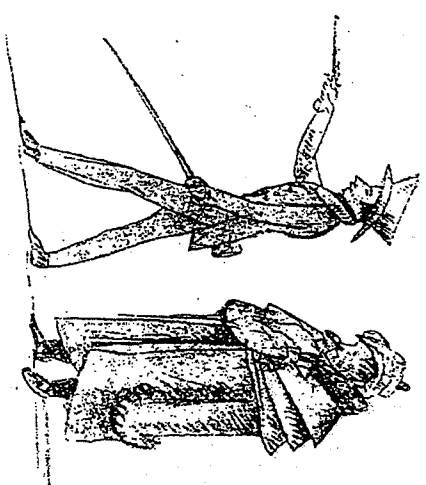
более натянутыми, чем принято считать. Перенда об Арионе была слишком хорошо известна, чтобы обойти тот факт, что пловцы все-таки отрабили и чуть не погубили «таинственного певца». Несмотря на то, что он считает себя причастным к общему делу, («Нас было много на челне... Наши кормщик умный...»), сам певец не принимает в нем прямого участия. Строки «А я — беспечной веры полн, / Пловцам я пел...» отделяет певца от кормщика, требцов, и напрыгающих парус. В одном из черновых вариантов Пушкин даже попытался переложить стихотворение в третьем лице: «Их было много на челне... А он — беспечной веры полн — / Пловцам он пел...» (ПСЗ 3: 594).

Такое распределение труда более похоже на истинное положение самого Пушкина среди декабристов. Хорошо известно, что в свое время поэт хотел вступить в тайное общество, но не был принят, так и оставшись на периферии революционного движения. В зашифрованном фрагменте сожженной 10-ой главы *Евгения Онегина* (1830) Пушкин подобным образом отмежевывается от заговорщиков: «Гут Лунин дерзко предлагал, свои решительные меры, меланхолический Якушкин обнажал царевбийственный кинжал, хромой Туренев предвидел в сей толпе дворян освободителей Крестьян, там Пестель набирал для тиранов рат, а Муравьев мунуты вспышки торопил» — в то время как поэт Пушкин им «читал свои нозли» (строфы 15-16). Декабрист В. Д. Давыдов вспоминал в 1837 г. в Сибири свои слова Пушкину: «Мы тебя не примем в свое общество, но ты будешь нам петь». ³³ Пушкин, как известно, пользовался сомнительной репутацией среди многих южан-декабристов. И Горбачевский, лично Пушкина не знавший, утверждал, что им «от Верховной думы было даже запрещено знакомиться с поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным», который «по своему характеру и малодушию, по своей развратной жизни делает донос тотчас правительству о существовании Тайного общества». ³⁴

Не представляет большого труда подобрать примеры напряженных или просто иронических моментов в отношении Пушкина к декабристам. Напомним, что первая дуэль в жизни Пушкина была именно с Кюхельбекером. В 1819 г. Кюхельбекер вызвал Пушкина на дуэль за эпитамию, в которой последний, «объевишись за ужином», чувствует себя «и *кюхельбекерно* и тошно». Неужелюбий Кюхля промахнулся и прострелил фуражку на голове своего секунданта Дельвига, а Пушкин, сказав, «ты стоишь дружбы;... по-

роху не стоишь» — отказался стрелять. ³⁵ Возможно, что в 1820 году Пушкин стрелялся также с Рылеевым за распространение слухов, что Пушкина якобы высекли в подвалах Тайной канцелярии. «Жалею очень, что его не застрелил, когда имел тому случай,» — писал он шутя А. А. Бестужеву (24 марта 1925). ³⁶ Пушкин не скрывал, что *Думы* Рылеева «дрянь» и утверждал, что «название сие происходит от немецкого dum [глупо]» (Вяземскому и брату, 25 мая 1825). Пушкин также защищал от нападок Рылеева свое «600-летнее дворянство» и идею царского покровительства поэтам (Рылееву, июль-август, 1825). ³⁷

Подобно другим лицеистам, Пушкин относился к Кюхельбекеру с иронией, хотя и всегда любил его. Налет этой иронии остается и после трагедии 1825 г. Как известно, Рылеев принял восторженного и политически наивного Кюхельбекера в Северный союз всего за три дня до восстания, и за покушение на вел. кн. Михаила Павловича Кюхельбекер едва не оказался шестым повешенным. Кюхельбекер был учителем Льва Пушкина, который слушался в день восстания на Сенатской площади. Кюхельбекер попался тут же завербовать своего ученика в ряды мятежников, вручив ему в виде оружия украденный жандармский папаш. Под впечатлением веселых рассказов брата Левы Пушкин рисует карикатуру: Кюхельбекер и Рылеев на Сенатской площади. Кюхельбекер во фраке и цилиндре, с длинным пистолетом в одной



Kühnel'becker and Ryleev on the Senate Square on Dec. 14, 1825. Pushkin's drawing. (VMP KP-22327/A-434).

руке и жандармским палашом в другой, как марионеточный дуэлянт делится в невидимую мишень, а за его спиной, в полном бездействии стоит Рыгеев в старинной фризовой шинели с откидными воротничками и расстреляно наблюдает за донкихотским поединком Кюхли.³⁸ Хотя Пушкин и подтрунивал над Кюхельбекером, он всегда любил его. Пушкин посвятил ему свое первое печатное произведение «К другу стихотворцу» (1814), а в 1827 г., неожиданно и в последний раз, обнял его на станции Залазы, когда Кюхельбекера перевозили в Динабургскую крепость. Пушкин не изменил этой дружбе: в 1830 году ему удалось напечатать несколько произведений Кюхельбекера, а в 1834 г., в день своего рождения, Пушкин ходатайствует о разрешении перестать Кюхельбекеру с курьером Третьего отделения свои сочинения в Сибирь.³⁹ Однако вернемся к «Ариону».

Да, Пушкин мог относиться к некоторым декабристам и их делу с иронией, и его отношения с Николаем I («Теперь ты мой Пушкин») могли напоминать отношения Ариона с Перипандром (оба поэта призывали к монаршей милости к падиши). Тем не менее, читать, без натяжки, в «Арионе» мотив ограбления и покушения на жизнь поэта остается рискованной задачей. Большинство исследователей поэтому отвергает смысловую связь между стихотворением и легендой. Однако, я не последую их примеру, а, исходя из того, что Пушкину было свойственно бережное обращение с мифологическими сюжетами, постараюсь прочесть «Арион» в соответствии с сюжетом классической легенды.⁴⁰

Следствие по делу декабристов должно было убедить Пушкина, что мятежники не всегда честно и бескорыстно пользовались гимнами «гвинтственного певца». Все возмущительные рукописи ходили под моим именем», — жалуется Пушкин Вяземскому (10 июля 1826), а иные появлялись под апокрифическими заглавиями и в искаженном виде. Строка из «Вольности»: «И рабство падшее по манию царя» превратилось в широтской версии в крамольный клич: «И рабство падшее и падишего царя». Стихотворение «Кинжал» читалось в обществе Соединенных славян, как клятва готовности к царевбийству.⁴¹ Вспомним также, что в 1820 году перед допросом у военного губернатора Милорадовича — короткий станет жертвой Каховского 14 декабря — Пушкин сжег свои «контрабандные стихи», но тут же записал их по памяти в тетрадь Милорадовича. "Ah, c'est chevaleresque", — оценил граф

рыцарский жест и на месте простил поэта от имени царя. Благодаря, в большой мере, заслужившему Милорадовича, Александр I не сослал поэта в Сибирь как мятежника, но откомандировал коллежского секретаря Пушкина на юг с годичным жалованьем в 700 рублей и 1000 рублями на проезд. Необычное усердие Пушкина в канцелярии военного губернатора можно объяснить и желанием избежать будущих недоразумений по поводу авторства крамольных виршей. В «Воображаемом разговоре с Александром I» (1824) Пушкин жалуется, что «всякое сочинение противузаконное приписывают мне так, как всякие остроумные вымыслы князю Цицианову» (ПСС 11: 23).

Злоупотребление стихами Пушкина продолжалось и после возвращения из ссылки. Элегия о Французской революции «Андрей Шень» (1825) была написана и разрешена цензурой с изъятием 44 строк еще до восстания. Изъятые строки — среди которых находились такие как «! Де вольность и закон? Над нами / Единый властвует топор. / Мы свернули царей. Убийцу с палачами / Избрали мы в цари. О ужас! о позор!» — ходили по рукам с апокрифическим заглавием «На 14 декабря». Библейский «Пророк» (1826), основанный на книге пророка Исаяи (6: 1-13), распространялся с поддельной строчкой, вызывающей призрак повешенных декабристов:

Восстань, восстань, пророк России,

Позорной ризой облекись

И с веревкой вкруг смиренной вьши

К царю российскому явись! (курсив мой — С.Д.)⁴²

Пушкин ясно осознавал, как легко его стихи прооцирали дело, которому он сам давно уже не сочувствовал. «Ничуть не забавно мне попасть в крепость *rouit des shansons*», жаловался он брату (декабрь, 1824). Вполне естественно, что, особенно после 14 декабря, Пушкин хотел провести более отчетливо черту между собой и мятежниками. Даже в самый разгар радикализма Пушкин призывал лишь к уничтожению «порока на троне», а не самого трона, к тиранубийству, а не к убийству царской семьи, включая детей, как намечались более крайние из декабристов.

Вскоре после аудиенции с царем (сентябрь 1826), Пушкин начертал на рукописи пятую главу *Бегенция Онегина* известнейший рисунок пяти повешенных и приписал «И я бы мог, как [шут



*Drawings on the manuscript of Eugène Onegin, Ch. 5.
After July 13, 1826. (PD No. 836, I. 37)*

ви<еть>]....»⁴³ Призрак виселицы и незаконченный стих, в котором Пушкин зачеркнул слова «шут ви...», — зловецкое напоминание о том, чего он избежал. Эта запятая фраза также переключается со строками из иронико-комической поэмы В. Майкова «Елисей или раздраженный Вахх», в которых Зевс грозит одному из богов-метежников: «А попросту сказать...повешу вверх ногами. / И будет он висеть, как шут, между богами» («Песня 2»: 409-10).⁴⁴ Слыть «шутом» было самым унижительным оскорблением для Пушкина, который однажды в дневнике записал вслепую Ломоносову: «Я могу быть подданным, даже рабом, — но холопом и шутком не буду и у Царя Небесного» (10 мая 1834).

В 1790 году Радищев использовал в «Больности» образ морской бури для описания триумфальной революции:

Внезапно *вихри востумили,*
Прервав спокойство *тихих вод,*
Свободы гласы так взгремени,
На вече весь течет народ,
Престол чугунный разрушает.
(Строфа 25; курсив мой — С.Д.)

В «Арионе» Пушкин применил эту же метафору к подавленному восстанию: «Вдруг *доно волн / Измял с налету вихорь шумный*». В конце «Ариона» нельзя не услышать вздох облегчения, что поэт «остался цел и невредим в общую бурю» (слова Вяземского, 12 июня 1826, ПСС 13: 285) и избежал судьбы пловцов. В первоначальном варианте было прямо сказано: «[Тимн избавления пою]. Похожий вздох можно услышать и в «Акафисте Е. Н. Карамзиной» (1827): «Земли достигнув, наконец, / От бури спасенный провиденьем».

Когда Пушкин писал «Арион», он отдавал себе полный отчет в том, что его счастливой фортуной управляла та же рука, что так неумело, но неумолимо затянула петли на шею декабристов. В октябре 1827 г. агент передает Бенкендорфу следующие слова, сказанные Пушкиным во время литературного обеда: «Меня должно прозвать или Николаевым, или Николаевичем, ибо без него я бы не жил. Он дал мне жизнь и, что гораздо более, — свободу: *виват!*»⁴⁵

В этом контексте следует напомнить и об оде «Арион» Экушара Лебрена (1811), восхваляющей Перандра как мудреца и покровителя искусств:

...
Jeune Ation, bannis la sainte,
Aborge aux rives de Cotinthe;
Pétillante est digne de toi.
Minerve aime ce doux rivage;
Et tes yeux y verront un sage
Assis sur le trône d'un roi.

(Юный Арион, изгони свою робость; / Причалъ к берегам Коринфа: / Перандр достоин тебя / Минера любит этот тихий берег: / Там глаза твои уярят мудреца, / Восседающего на королевском престоле).

Согласно *Запискам А. О. Смирновой*, часто недостоверно записанным ее дочерью, Пушкин питировал во время разговора о декабристах с А. О. Смирновой этот фрагмент из «Ариона» Либрена и якобы провел параллель между Перандром и Николаем I.⁴⁶ Судя по письму брату (1-10 нояб. 1824), в котором Пушкин просил прислать ему оды и эпитеты Либрена, нет сомнения, что поэт знал эти произведения. Но, согласно Глебову и Томашевскому, ода Либрена, восхваляющая тирана, не имеет ничего общего с пушкинским «Арионом».⁴⁷ В отличие от классической легенды и от оды Либрена, Пушкин исключил из своего стихотворения строку «Спасен Дельфином, я пою» и оставил избывление «таинственного певца» немотивированным. Таким образом, поэт избавил нас от искушения приписать Государю всея Руси роль дельфина, несмотря даже на то обстоятельство, что слово "dauphin" обозначает по-французски не только дельфина, но и наследника престола. Куда пристойнее утверждать, что Пушкина спас от злой участи перебежавший через дорогу запл.⁴⁸

Итак, в стихотворении «Арион», отмечаяшем первую годовщину казни декабристов, пересекается несколько противоборствующих тенденций. «Певец» у Пушкина действительно «таинственный» — в начале стихотворения он Орфей, а в конце — Арион. Заглавие «Арион» могло, конечно, обмануть цензора, укрыв под мифологическим завесом гимн в честь декабристов, но классическая легенда о чудесном спасении поэта от покушения пловцов, частично подкрывает такое прочтение. Через сюжет легенды в стихотворение проникает упрек пловцам, который выскazuje открыто было просто немилосиво. Автограф «Ариона» усиливает впечатление, что Пушкин с самого начала ошушал недовкость по поводу этого названия. Первоначальное название «Орион» он заменил на «Арион» и прибавил строку «Спасен Дельфином я пою». «Дельфина» Пушкин затем убрал, но «Арион» остался (*ПСС* 3: 593). В двух списках, составленных в 1831 г. для сборника своих стихотворений, Пушкин обозначил «Арион» не заглавием, а первой строкой «Нас было много...», но так и не поместил ни в одно издание.⁴⁹ Поз-

же Пушкин снова пытается заглушить значимость названия «Арион». Предлагаю в 1835 г. Плетневу название для нового альманаха, Пушкин пишет: «назовем его «Арион» или «Орион»; я люблю имена, не имеющие смысла; шуточками привязаться не к чему» (11 окт., 1835). Что же из этого можно заключить? Напечатанное стихотворение анонимно, а затем исключив его из своего печатного наследия, Пушкин, по-моему, избежал непоразумений со стороны декабристов, прекрасно знавших сюжет легенды. Одновременно, назвав стихотворение — «Арион», Пушкин избежал недоразумения и со стороны их торемщика, который мог заподозрить поэта в симпатии к мятежникам. Самое главное — Пушкин по своему обычаю не пожелал снять это противоречие между гимном и упреком. «Таинственный певец» остается и Орфеем, поющим гребцам-аргонавтам (гимн), и Арионом, чуть было не погибшим от руки пловцов (упрек), а сам Пушкин — честным человеком, призывавшим к парской «милости к падшим».

* * *

Как бы то ни было, к 1830 году, когда Пушкин заканчивал *Евгения Онегина*, идеалы декабристов уже давно не кружили голову поэту. Вот что Пушкин не предал огню и не потрудился зашифровать — возможно в доказательство своей политической благонадежности — из 10-ой главы романа.

Сначала эти разговоры
Между Дафитом и Кликко
Лишь были дружеские споры,
И не входила глубоко
В сердца мятежная наука,
Все это было только скука,
Безделье молодых умов...
Забавы взрослых шушунов, (ЕО XVIII)

Несмотря на иронический тон этих строк, несправедливо было бы говорить об отступничестве поэта от друзей или о малодушии перед властями. Во время аудиенции с Николаем I Пушкин смело заявил: «Непременно, государь, все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нем». В своем ответе Пушкин показывал

больше мужества, чем избранный «Диктатор восстания» кн. Трубецкой, не явившийся на площадь. Не похож Пушкин и на героя «Медного всадника», прошептавшего сквозь зубы «медному» императору «Ужо тебе!», и убежавшего затем в страхе с Сенатской площади. Куплет дружбы стоял высоко в системе ценностей Пушкина и безоговорочная преданность друзьям была делом чести. Но разделять дружбу не значило разделять убеждения друзей. Более крайние декабристы предлагали устроить в России федеральную республику по образцу Соединенных Штатов. В 1830-е годы слово «демократия» обозначало для Пушкина в лучшем случае «антидворянский» строй, в худшем — «народовластие». Даже в самый радикальный период Пушкин выступал только за свободу для народа, но не за власть народа.

И горе, горе племенам
Где дремлет он [закон] неосторожно,
Где иль народу, иль царям
Законом властвовать возможно!
 («Вольность», 1817)

Наиболее открыто Пушкин выразил свои претензии к демократии в статьях 1836 г., предназначенных для *Соверменника*. Во Франции после Июльской революции: «Народ (des Нег оплис) властвует со всей отвратительной властью демократии» (ПСС 12: 66). Пушкин опасался исторического прогноза Токвиля (*De la Démocratie en Amérique*, 1835), что дальнейшее развитие в Европе неизбежно приведет к демократии. Еще более резко Пушкин обрушился на американскую демократию в статье «Джон Теннер» (1836):

С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстью к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество, рабство негров порождает образованности и свободы; родословные тоснения в народе, не имевшем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и понобострастие; талант, из уважения к равенству, принужденный к поборвольному остракизму... (ПСС 12: 104).

В черновике полемического ответа Чаадаеву на его *Философические письма* Пушкин хвалит императора Николая I за то, что тот «первый воздвиг плотину (очень слабую еще) против наводнения демократией, худшей, чем в Америке (читали ли вы Токвиля?). Я еще под горячим впечатлением от его книги и совсем напуган ею» (ПСС 16:261, оригинал по-французски).

Любая революция, направленная на сословное уравнение, будь то «революция» Петра («*Рягте I est tout à la fois Robespierre et Narobéon La Révolution incertaine*»), («О дворянстве», 1830, ПСС 12: 205), или народный бунт Пугачева, или демократическая революция, возглавляемая радикальным дворянством, — были неприемлемы для Пушкина, который в 1830-е годы встал на защиту собственного сословия. Как потомственный дворянин с 600-летней родословной Пушкин проводил четкую линию между древним дворянством и новой знатью. Он был озабочен жалким состоянием старинных родов, гонимых князьями московскими, преследуемых Иваном Грозным и Голуновым. При Петре их принудили покинуть крестьян, чтобы на государственной службе карабкаться по лестнице рангов вместе с плебеями из служилого дворянства. Старая знать продолжала нищать вследствие отмены майората при Анне Иоанновне и дальнейшей политики Екатерины II и ее фаворитов.

Когда Пушкин пишет «Заметки о русском дворянстве» (1830), упадок древних родов, в том числе его собственного, завершен: «Падение постепенное дворянства; что из этого следует?» спрашивает Пушкин — «Восшествие Екатерины II, 14 декабря и т.д.» (ПСС 12: 206, курсив мой — С.Д.). Пушкин воспринимал трагедию собственного сословия, как одну из причин, приведших к восстановлению. «Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много» (Дневник, 1834, ПСС 12: 335).

Пушкин считал независимое родовое дворянство единственным сословием, способным противостоять самодержавию. Но для такой независимости было необходимо восстановить политическое и экономическое состояние дворян. Пушкин верил, что в просвещенном и независимом дворянстве народ обретет «мошницх защитников», способных заступиться за его интересы перед монархом. «С этих позиций, — утверждает Ю. Потман — народ и дворянская интеллигенция ('старинные дворяне') выступают как

естественные союзники в борьбе за свободу. Их противник — самодержавие, опирающееся на чиновников и созданную самодержавным произволом псевдоаристократию, 'новую знать'». ⁵⁰

«Как в декабрьские свои годы Пушкин не походил на классического революционного героя, так и в николаевское время, отрекшись от революции, он не отрекался от свободы. Сама свобода лишь менялась в своем содержании», справедливо замечает Г. Федотов. ⁵¹ Поражение 14 декабря, таким образом, не было толчком, а всего лишь последним звеном в цепи постепенного разочарования поэта в радикальных мерах.

* * *

Если начало пушкинского политического пути озарял Радищев блестящей своей одой «Вольность», он же сопутствует поэту и на последней версте. В 1836 г. имя Радищева было еще табу в России, но оно дважды всплывает в творчестве Пушкина — в отвергнутой строке «Памятника» («Что вслед Радищеву восславил я свободу») и в статье «Александр Радищев», предназначенной для 3-ей кн. *Современника*. Первое упоминание — это дань уважения певцу «Вольности», второе же — брань, обращенная к опыту русского радикализма. Да, в 1817 году Пушкин «восславил вслед Радищеву свободу», но в 1836 он недоумевает, как мог «чувствительный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время ужаса? Мог ли он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедаемые с высоты гильотинны, при гнусных рукоприкладаниях черни? (ПСС 12: 34). В 1836 г. Пушкин хотел подчеркнуть именно разницу между собой и Радищевым:

Время изменяет человека как в физическом, так и в духовном отношении. Муж, со вздохом или с улыбочкою, отвергает мечты, волновавшие юношу. Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют. (ПСС 12: 34).

В последнее лето жизни Пушкин требует иной, умиротворенной, но не менее гордой свободы, в которой можно совместить и «волю и покой»:

Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне Свободе:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.

Никому

Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливрей
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь Божественным природы красотам,
И пред созданными природой красотам,
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! вот права...

(«Из Пиндемонти.» 1836)

Вордо сменило Ам.

Примечания

¹ Д. И. Писарев, *Сочинения*, 3 (М.: Госполитиздат, 1956), стр. 415.

² ПСС 1: 144 — Пушкин в воспоминаниях современников. 1, ред. В. Э. Вадуро и др. (М.: Худ. лит., 1974), стр. 144.

³ "Le glaive arma ton bras, file grande et sublime, / Roule faine honte aux Dieux roui térares lent stime", см. Е. Эткинд, «Союз ума и фруий (Пушкинские мтежки)», *Rivista*, no. 5 (1987), стр. 75.

⁴ В. Вересаев, *Пушкин в жизни*, 1, 2-е изд. (М.: Сов. пис., 1936), стр. 100.

⁵ ПСС 1: 134.

⁶ ПСС 1: 98.

⁷ ПСС 1: 103.

⁸ М. А. Цыгановский, *Статьи о Пушкине* (М.: Ак. наук, 1962), стр. 367.

⁹ Из письма А. И. Тургеневу, *Пушкин в присяженной критике 1820-1827*, ред. В. Э. Вадуро, С. А. Фоминчен (СПб: ПКРАН, 1996), стр. 379.

¹⁰ Об аналогичном отношении к «народу» Шенье и Пушкина см. Эткинд, *Союз ума и фруий*, стр. 72-75.

¹¹ См. реконструкцию этой встречи у Н. Я. Эйдегельмана, *Пушкин: Из биографии и творчества 1826-37* (М.: Худ. лит., 1987), стр. 24-64.

¹² См., Д. Д. Влагой, *Теоретический путь Пушкина (1826-1830)* (М.: Сов. пис., 1967), стр. 45.

¹³ Там же, стр. 32-38.

¹⁴ П. Милкоков, *Жизнь Пушкина*, 2-е изд. (Париж, 1937), стр. 121.

¹⁵ В. Г. Велинский, «Письмо к Гоголю» (1848), *Статьи о классиках* (М.: Худ. лит. 1970), стр. 423.

¹⁶ В. М. Томашевский, *Пушкин*, 2 (М.-Л.: Ак. наук, 1961), стр. 253.

¹⁷ См. письмо А. Бестужеву, май-июнь 1825.

¹⁸ Эткинд, стр. 77.

¹⁹ «Хранили, о друзья, храните / Ту дружбу с тою же душой, / То ж к славе сильное стремление, / То ж правде — да, неправде — нет, / В несчастье гордою твердыней, / И в счастье — всем равно привет!» (курсив мой — С.Д.). См. *ПавС* 1: 95 и *Летопись*: 133. В декабре 1826-январе 1827 г., когда Пушкин писал «Послание в Сибирь», он не знал, что Кюхельбекера еще в Сибири не было.

²⁰ *Писатели-декабристы в воспоминаниях современников*, 1-2, ред. Я. Д. Левянович и др. (М.: Худ. лит., 1980), т. 1, стр. 264, 267, 271; т. 2, стр. 402.

²¹ Н. О. Лернер, «Примечания к стихотворениям 1826-28 гг.», *Пушкин*, т. 4, стр. 23, ред. С. А. Венгеров, в 6 тт. (СПб.: Брокгаус-Эфрон, 1907-15); Н. Пиксанов, «Дворянская реакция на декабризм» (1825-27)», *Звенья*, 2, (М.-Л.: Академия, 1933), стр. 148.

²² В. Непомнящий, «Судьба одного стихотворения», *Вопросы литературы*, 1984, 6, стр. 168.

²³ См. Благой, стр. 146.

²⁴ Ю. П. Суздальский, «'Арион' Пушкина», *Литература и мифология*, ред. А. Л. Григорьев (Л., 1975), стр. 16.

²⁵ W. Ucker, "'Arión': An Example of Post-Decembrist Semantics," *Alexander Pushkin: A Symposium on the 175th Anniversary of His Birth*, eds. A. Kodjak and K. Tatavoulekou. (New York: N. U. Univ. Press, 1976), p. 79.

²⁶ *ДСС* 13: 120; курсив мой — С.Д.

²⁷ Благой, стр. 158.

²⁸ Карикатура воспроизведена у К. Я. Грота, *Пушкинский лицей (1811-1817)* (С.-Пб., 1911), стр. 291; оригинал — ПД, ф. 244, ор. 25, № 152, 1.82. О спасении Кюхельбекера, см. *Летопись*, стр. 128.

²⁹ *Поэты-декабристы* (М.: Худ. лит., 1986), стр. 132. Аналогичный «Ариону» образ члена употребил Кюхельбекер в стихотворении «На смерть Якубовича» (1846): «Ты отстрадался, вышел ты на берег: / А реет все еще средь черных волн / Мой бедный, утлый, разнащенный челн!», Там же, стр. 158.

³⁰ И. И. Пущин, *Записки о Пушкине, Письма* (М., Худ. лит., 1988), стр. 301; Н. Я. Эйгельман, *Пушкин и декабристы* (М.: Худ. лит., 1979), стр. 201; В. В. Пугачев, «Из эволюции мировоззрения Пушкина конца 1820-х-начала 1830-х годов», *Проблемы истории, взаимосвязей русской и мировой культуры* (Саратов: Изд. Саратов ун., 1983), стр. 52-53; И. В. Немировский, «Декабрист или сервантист? (Биографический конспект стихотворения 'Арион')», *Легенды и мифы о Пушкине* (Петербург: Ак. проект, 1994), стр. 170.

³¹ Англопний Родосский, *Аргонавтика* 1, 530-41, перевод Т. Ф. Церетели (Тбилиси, 1964).

³² См. Геродот I, 23-24; Овидий, *Fasti* II, 83-118; Плутарх, *sext. sap. concil.* 160 E. foll.; Аelian, N. A. XII, 45; и др. Легенда об Арионе находилась в библиотеке Пушкина в предании Геродота по-французски (№ 981), и в предании Овидия по-французски и в оригинале (№ 1232-1233). Легенда об «Арионе» вошла в антологию «Цветы греческой поэзии», составленную линдеевским преподавателем Колонико «Цветы греческой поэзии», составленную линдеевским преподавателем Колоником. Подробный переклад легенды появился и в любимом Пушкиным альманахе *Северная лира* на 1827 г. Пушкин мог знать и видеть Симеона Полоцкого: «Плыли в Россию по морской пучине, / Арион славный, хотя на дельфине...» Пушкин был также знаком с орой «Арион» Экушара Лебрена (Г. С. Глебов, «Об 'Арионе'», *Пушкин: Временник Пушкинской комиссии*, 4 (М.-Л.: АН СССР, 1941), стр. 295-304).

³³ *ПавС* 2: 317, курсив мой — С.Д.

³⁴ Н. Эйгельман, *Пушкин и декабристы* (М.: Худ. лит., 1970), стр. 148; Ю. М. Лотман, *Александр Сергеевич Пушкин: Биография писателя* (Л.: Просвещение, 1983), стр. 46.

³⁵ *Летопись*: 187.

³⁶ В январе 1820 г. Пушкин «дерется по этому поводу с кем-то неизвестным на дуэли» (*Летопись*: 197). См. так же Лотман, 1983: 47-8 и В. В. Набоков, *Евгения Онегин*, 2 (Princeton Univ. Press, 1975), стр. 433-34; и не отосланное письмо Пушкина Александру I, июль-сентябрь 1825. Только на юге в 1820 г. Пушкин узнал, что слух этот был пущен Ф. Толстым («Американизм») и готовился к дуэли с ним (*Летопись*: 313, 415). Соболевский помнил Пушкина с Толстым, и в 1829 г. Толстой был святом Пушкина у Гончаровой.

³⁷ Обвинения Пушкина в аристократизме скоро повторит за Рылевым его товарищ по *Полярной звезде* Булгакин.

³⁸ Т. Г. Цявловская, *Рисунки Пушкина*, 4-е изд. (М.: Искусство, 1987), стр. 293-5. «Если вам рассказать все проделки Вильгельма в день происшествия и в день объявления сентении, то вы просто погыбли бы от смеху, несмотря на то, что он тогда был на сцене трагической и довольно важной... Напрасно покойник Рылеву принят Кюхельбекера в Общество...», — недоумовал Пущин (*ПДВС* 2: 284).

³⁹ П. Фришман, *Семинарий по Пушкину* (Харьков: Энграм, 1995), стр. 98.

⁴⁰ Пушкин вполне обошелся с мифологией лишь в стихотворении «Рифма» (1830), где он придумливал дочь Англиона и Эхо и назвал ее Рифмой.

⁴¹ Эйгельман, 1987, стр. 37.

⁴² Архаизм «въян» — не характерное слово для Пушкина. Во всем творчестве он употребил его дважды (см. *Словарь Пушкина*). Тон и лексика приписываемых Пушкину строк напоянног графдаксский пафос декабристов:

Горька сульба погов всех племен:
Т лажде всех сульба казнит Россию:
Для славы и Рылеев был рожден;
Но юноша в свободу был выоблен...
Станула петля дерзостную вдио.
(Кюхельбекер: «Участь русских погов», 1845)

Лишь вспыхнет огонь во глубине сердца,
Пять жертв встанут пред нами, как венец,
Вкруг выи вется синий пламень.
Сей огонь пожжет чело их палачей,
Когда пред суд властителя царей
И палачи и жертвы станут рядом...
(Оповский: «Непнижмы, как мертвые в гробах», 1831)
(курсив мой — С.Д.)

⁴³ См. Т. Г. Павловская, ук. соч., стр. 179-181.

⁴⁴ М. А. Павловский, *Ружою Пушкина* (М.-Л.: Академия, 1935), стр. 160. С. Бонди предложил «шута на веревке» как возможный источник этой фразы (там же). См. также Набоков, *Евгений Онегин* 3: 348 и Павловская, *Рисунки Пушкина*, стр. 202-3. Образ Майкова и пушкинская оборванная фраза напомнимают также карту-таро «шута», повешенного за ногу.

⁴⁵ В. Л. Могазлевский, *Пушкин под тайным надзором* (Л., 1925), стр. 73; Благой, стр. 52. Немировский, стр. 179.

⁴⁶ *Записки Д. О. Смирновой* (Из записных книжек 1826-1845 гг.), ч. 1 (СПб.: Изд. редакции журнала *Северный вестник*, 1895), стр. 176.

⁴⁷ Г. С. Глебов, «Об Арконе», *Пушкин: Временник Пушкинской комиссии*, 4 (М.-Л.: АН СССР, 1941), стр. 297; Томашевский, *Пушкин и Франция* (Л.: Сов. пис., 1960), стр. 326.

⁴⁸ В первых числах декабря крепостной мужик Алексей Хохлов в сопровождении садовника Архима Курочкина направился по Михайловской дороге в Петербург. Из-за дурных примет — в том числе и перебежавшего им дорогу зайца — суеверные мужики повернули назад (Летопись: 577; И. З. Сураг, «Кто из ботов мне возвратил...», *Московский пушкинист*, 2 [1996], стр. 110). Под именем Алексея Хохлова путешествовал инкогнито Пушкин, и если бы не зайц, поэт мог оказаться на квартире Рыльева в ночь с 13-го на 14-го декабря (*ЛавС* 1: 153, 2: 7). Насколько мне известно, зайц этот, в отличие от дельфина, не стал созвездием, и я поэтому присоединяюсь к предложению А. Витова воздвигнуть ему в Михайловском памятник (см. *Вычитание зайца* [М.: Олимп, 1933], стр. 37).

⁴⁹ *Ружою Пушкина*: 256-60.

⁵⁰ Ю. М. Лотман, «Идейная структура Капитанской дочки», *Пушкинский сборник* (Псков, 1962), стр. 4-5.

⁵¹ Г. П. Федотов, «Певел империи и свобода» (1937), *Новый град* (Нью Йорк: Изд. им. Чехова, 1952), стр. 245.